## Марина Ивановна Цветаева

Родилась 26 (8. X) сентября 1892 года в Москве в семье профессора, основателя Московского музея изобразительных искусств. «Герой труда», – писала Цветаева об отце. «Польской княжеской крови, ученица Рубинштейна, – писала она о матери. – Стихи от нее». И позднее тоже не раз повторяла: «Страсть к стихам – от матери».

Первая школа – музыкальная (Зограф-Плаксиной), затем – IV женская гимназия. Весной 1902 года (в связи с лечением матери за границей) – французский интернат (полтора года) в Лозанне, за ним – католический пансион во Фрейбурге. Вспоминала: «Книги мне дали больше, чем люди. Я мысленно все пережила, все взяла». Летом 1906 года на пути в Москву скончалась мать – на даче Песочная, близ Тарусы. По своей воле Цветаева пошла в интернат при московской частной гимназии. Отношение ее к чтению не изменилось. Книгами, «с которыми сожгут» называла «Нибелунгов», «Илиаду», «Слово о полку Игореве». Чрезвычайно увлекалась «Орленком» Э. Ростана. В мир московских поэтов, преимущественно символистов, Цветаеву ввел поэт Эллис, но споры символистов были ей непонятны. В 1910 году вышел сборник стихов Цветаевой – «Вечерний альбом». «Издала сама, еще будучи в гимназии. Первый отклик – большая приветственная статья Макса Волошина. Литературных влияний не знаю, знаю человеческие».

С Волошиным Цветаева подружилась, бывала у него в Коктебеле. Кстати, именно там, весной 1911 года, она встретила своего будущего мужа – Сергея Эфрона. *«Писала я на аспидной доске, и на листочках вееров поблеклых, и на речном, и на морском песке, коньками по льду и кольцом на стеклах, – и на стволах, которым сотни зим… И, наконец, – чтоб было всем известно! – что ты любим! любим! любим! любим! – расписывалась – радугой небесной…»*

В 1912 году Цветаева и Эфрон поженились. В том же году родилась дочь Ариадна и вышел второй сборник стихов – «Волшебный фонарь». В «Предисловии», предпосланном изданному через год еще одному сборнику «Из двух книг», Цветаева писала: «Все это было. Мои стихи – дневник, моя поэзия – поэзия собственных имен. Все мы пройдем. Через пятьдесят лет мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живущим: Пишите. Пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! Но не только жест – и форму руки, его кинувшей; не только вздох – и вырез губ, с которых он, легкий, слетел. Не презирайте „внешнего“! Цвет ваших глаз столь же важен, как их выражение; обивка дивана – не менее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате: высока она, или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы? Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце, – все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души…»

*«Я знаю правду! Все прежние правды – прочь! Не надо людям с людьми на земле бороться! Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь. О чем – поэты, любовники, полководцы?… Уж ветер стелется, уже земля в росе, уж скоро звездная в небе застынет вьюга, и под землею скоро уснем мы все, кто на земле не давали уснуть друг другу…»*

Осенью 1914 года Цветаева познакомилась с поэтессой Софьей Парнок. Эту дружбу-любовь, длившуюся до 1916 года, Цветаева позже назвала своей «первой катастрофой». – «Марина, наконец, выходит из своего замкнутого детского круга, – сообщала Волошину летом 1915 года поэтесса А. Герцык. – Большое страдание постигло ее и выковывает из ее души новую форму. В ее новых стихах это еще почти не отражается – как все переходное, бездомное – они стали неловки, утратили свою наивную отчетливость…»

«В дореволюционной России самовольная, а отчасти *не* вольная выключенность из литературных кругов – из-за раннего замужества с *не* литератором, раннего и страстного материнства, а главное – из-за врожденного отвращения ко всякой кружковщине, – так о своей юности писала позже сама Цветаева. – Встречи с поэтами (Эллисом, Максом Волошиным, О. Мандельштамом, Тихоном Чурилиным) не поэта, а – человека, а еще больше женщины: женщины, *безумно* любящей стихи. Читатель меня не знал, потому что после двух первых – самонапечатанных, без издательства – детских книг – из-за той же литературной оторванности и собственной особости: ненавидела, например, стихи в журналах – нигде не печаталась. Первые стихи в журнале – в «Северных записках», потому что очень просили и очень понравились издатели, – в порядке дружбы. Сразу слава среди поэтов. До широкого круга не дошло. Потому что журнал был новый – и скоро кончился. Все скоро кончилось…»

Революцию не приняла. Муж – белый офицер, голод, холод, невозможность нормально устроить жизнь, в 1920 году умерла в приюте дочь Ирина, трех лет от роду; как позже писала старшая дочь Цветаевой: «…куда уж понятнее и неприемлемее». О тех годах писала позже артистка Н. Щеглова (первая жена поэта П. Антокольского): «Павлик меня познакомил с Цветаевой. Он всегда с таким восторгом о ней говорил. А я с ее сестрой Асей училась в гимназии, премилая девочка была. А Марина тогда жила в переулочке – там, где была Собачья площадка, в таком странном доме. Возле него стояло, да, наверное, и сейчас стоит, скособоченное дерево. А странным мне этот дом показался потому, что никак нельзя было понять расположение комнат. А когда я в первый раз вошла в комнату Марины, меня, помню, поразил интерьер этой комнаты: посредине стоял шкаф, у которого не было ни дверок, ни задней стенки. Он походил на арку. В этом шкафу стояло чучело лисицы, ободранное, все без шерсти. И на этом чучеле верхом сидела Аля, семилетняя дочка Марины. Сама Марина показалась мне какой-то очень уж будничной. Мятая юбка, вытянутая вязаная кофта. Я не знала, о чем с ней разговаривать. Стеснялась. Мне в то время и стихи-то ее не особенно нравились. Я пошла к Але, и мы стали с ней играть во что-то. Эта Аля была необычный ребенок. Она так своей матери говорила: „Марина! Вы – морская!“ Эта фитюлька в семь лет сидела за своим столиком и без конца писала, писала, писала…»

Связь с мужем, находившемся в Крыму с белой армией, была оборвана. Думая о нем, Цветаева записала в тетрадь: «Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться – слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла „Южный край“. 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она *не кончилась* . Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас – но тут следуют слова, которых я не могу написать…»

Только в июле 1921 года Цветаева получила первое письмо от мужа – из Праги, где он учился в университете. Очень скоро после этого, в 1922 году, Цветаева с дочерью уехала из России. «В Праге, – вспоминала Берберова, – она производила впечатление человека, отодвинувшего свои заботы, полного творческих выдумок, но человека, не видящего себя, не знающего своих жизненных (и женских) возможностей, не созревшего для осознания своих настоящих и будущих реакций. Ее отщепенство, о котором она гениально написала в стихотворении „Роландов рог“, через много лет выдало ее незрелость: отщепенство не есть, как думали когда-то, черта особенности человека, стоящего *над* другими, отщепенство есть несчастье человека – и психологическое, и онтологическое, – человека, недозревшего до умения соединиться с миром, слиться с ним и со своим временем, то есть с историей и людьми. Ее увлечение Белой армией было нелепым, оно в какой-то степени вытекало из ее привязанности к мужу, С. Эфрону, которому она «обещала сына» – она так и сказала мне: у меня будет сын, я поклялась Сереже, что я дам ему сына. Несомненно, в Марине Ивановне это отщепенство тем более было трагично, что с годами ей все более начало хотеться слияния, что ее особенность постепенно стала тяготить ее, она изживала ее, а на ее месте ничто не возникало взамен. Она созревала медленно, как большинство русских поэтов нашего века (противоположность веку прошлому), но так и не созрела, быть может, в последние годы своей жизни поняв, что человек не может годами оставаться отверженным – и что если это так, то вина в этом в нем, а не в его окружении. Но ее драма усугублялась тем, что в эмиграции у нее, как у поэта, не было читателей, не было отклика на то, что она делала, и возможно, что не было друзей по ее росту. Поэт со своим даром – как горбун с горбом, поэт – на необитаемом острове или ушедший в катакомбы, поэт – в своей башне (из слоновой кости, из кирпича, из чего хотите), поэт – на льдине в океане, все это соблазнительные образы, которые таят бесплодную и опасную своей мертвенностью романтическую сущность. Можно вписывать эти образы в бессмертные или просто хорошие стихи, и кто-то несомненно на них внутренне отзовется, но они будут нести в себе один из самых коварных элементов поэзии – эскапизм, который если и украсит поэму, то разрушит поэта. Пражское одиночество Марины Ивановны, ее парижское отщепенство могли только привести ее к московской немоте и трагедии в Елабуге. В ней самой, в характере ее отношения к людям и миру, уже таился этот конец: он предсказан во всех этих строчках, где она кричит нам, что она – не такая, как все, что она гордится, что она не такая, как мы, что она никогда не хотела быть такой, как мы…

Мы сидим долгие часы, – продолжала Берберова рассказ о пражской жизни в отеле «Беранек», – пьем чай, который я кипячу на маленькой спиртовке, едим ветчину, сыр и булки, разложенные на бумажках. Все, что говорит Цветаева, мне интересно, в ней для меня сквозит смесь мудрости и каприза, я пью ее речь, но в ней, в этой речи, почти всегда есть чуждый мне, режущий меня больной надлом, восхитительный, любопытный, умный, но какой-то нервный, неуравновешенный, чем-то опасный для наших дальнейших отношений, будто сейчас нам еще весело летать по волнам и порогам, но в следующую минуту мы обе можем столкнуться и ушибиться, и я это чувствую, а она, видимо, нет, она, вероятно, думает, что со мной можно в будущем либо дружить, либо поссориться. Внезапно в комнате гаснет свет – это она выдернула вилку из штепселя, в темноте на диване она нападает на меня, щекочет, обнимает. Я вскакиваю, не сдержав крика. Свет зажигается. Эти игры мне совсем, совсем не по душе…»

В Праге родился сын Цветаевой – Георгий; в ноябре 1925 года Цветаева и Эфрон перебралась в Париж. Там, в 1928 году, вышла последняя поэтическая книга – «После России». «Для других я еще – Кастальский ток, для себя – иссякла, – записала Цветаева в черновой тетради. – Эмиграция делает меня прозаиком». Дочь рассказывала позже о том, как она работала: «Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, на пустой и поджарый живот. Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку – с тем же *чувством ответственности* , неизбежности, невозможности иначе. Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей. Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредотачивалась мгновенно, глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась острием мысли и пера…»

Друзей у Цветаевой оставалось все меньше. Встретив в июне 1935 года Бориса Пастернака, приезжавшего в Париж в составе советской делегации на антифашистский конгресс, Цветаева была ужасно разочарована – до слез. «А плакала я потому, – объясняла она в письме Н. Тихонову, – что Борис, лучший лирический поэт нашего времени, на моих глазах предавал Лирику, называя всего себя и всё в себе – болезнью. (Пусть – „высокой“. Но он и этого не сказал. Не сказал также, что эта болезнь ему дороже здоровья и, вообще – дороже – реже и дороже радия. Это ведь мое единственное *убеждение* : убежденность)». Разочарование усилилось, когда Пастернак в феврале 1936 года выступил на Пленуме советских писателей в Белоруссии. В этом выступлении он обещал в скором будущем коснуться неких новых тем и положений, общих для всех, хотя оговаривался, что будет пока писать «плохо с прежней своей точки зрения»… Пока не свыкнется с новизной… «Ты был бы собой, – писала Цветаева Пастернаку, – если бы на своем пленуме провозгласил юношеское вещание, сорокалетнее безумие и бессрочное бессмертие Гёльдерлина… Но ты – слаб… Ты, к сожалению – лиана (которая не помнит своей Африки)… То, что у вас считается бесстрашием (очевидно так надо понимать твою речь) – не у „нас“ (у *нас* – нет), не у нас, в Париже, а у нас – *в Лирике…* Ничего ты не понимаешь, Борис… Ты, Орфей, пожираемый зверями: пожрут они тебя…»

К этому времени муж Цветаевой принял решение вернуться на родину, к чему его, несомненно, подтолкнули некоторые обстоятельства его тайного сотрудничества с органами ЧК. Для самой Цветаевой вопрос о возвращении был не прост. «Здесь я *не нужна* , там я *невозможна* ». В 1936 году она завершила последнюю поэму – историческую хронику «Поэма о Царской Семье». Она считала эту работу своим личным долгом перед памятью всех побежденных и уничтоженных российской катастрофой. К сожалению, от этой поэмы сохранились лишь отрывки. В анкете Цветаева писала: «Любимые вещи в мире: музыка, природа, стихи, одиночество. Полное равнодушие к общественности, театру, пластическим искусствам, зрительности. Чувство собственности ограничивается детьми и тетрадями. Был бы щит, начертала бы: „Не снисхожу“. Жизнь – вокзал, скоро уеду, куда – не скажу».

Впрочем, куда – об этом скоро узнали все.

Первой в Россию (в марте 1937 года) уехала Ариадна – дочь – за нею Эфрон. «Я страшно одинока. Из Парижа – только два дома, где я бываю, остальное все – отпало». Только 18 июня 1939 года уехала в Москву и сама Цветаева с сыном Георгием. Поселили их на даче НКВД в поселке Болшево, что лишний раз подтверждало никем не афишируемую связь Эфрона с этой организацией. Все последующее описала Цветаева в письме от 27 августа 1940 года, отправленном П. А. Павленко, одному из секретарей Союза писателей СССР.

«Многоуважаемый товарищ Павленко, Вам пишет человек в отчаянном положении. Нынче 27-го августа, а с 1-го мы с сыном, со всеми нашими вещами и целой библиотекой – на улице, потому что в комнату, которую нам сдали временно, въезжают обратно ее владельцы.

Начну с начала.

18 июня 1939 г., год с лишним назад, я вернулась в Советский Союз, с 14-летним сыном, и поселилась в Болшеве, в поселке Новый Быт, на даче, в той ее половине, где жила моя семья, приехавшая на 2 года раньше. 27 августа (нынче годовщина) была на этой даче арестована моя дочь, а 10-го октября – и муж. Мы с сыном остались совершенно одни, доживали, топили хворостом, который собирали в саду. Я обратилась к Фадееву за помощью. Он сказал, что у него нет ни метра. На даче стало всячески нестерпимо. Мы просто *замерзали* , и 10-го ноября, заперев дачу на ключ (NB! у нас нашей жилплощади никто не отнимал, и я была там прописана вместе с сыном на площади мужа) – итак, заперев дверь на ключ, мы с сыном уехали в Москву к родственнице, где месяц ночевали в передней без окна на сундуках, а днем бродили, потому что наша родственница давала уроки дикции и мы ей мешали. Потом Литфонд устроил нас в Голицынский Дом Отдыха. Вернее мы жили *возле* Дома Отдыха, столовались – там. За комнату, кроме 2-х месяцев, мы платили сами – 250 р. в месяц, – маленькую, с фанерной перегородкой, не доходившей до верха. Мой сын, непривычный к такому климату, *непрерывно* болел, болела и я, к весне дойдя до кровохарканья. Жизнь была очень тяжелая и мрачная, с керосиновыми не горящими лампами, тасканием воды с колодца и пробиванием в нем льда, бесконечными черными ночами, вечными болезнями сына и вечными ночными страхами. Я всю зиму не спала, каждые полчаса вскакивая, думая (надеясь!), что уже утро. Слишком много было стекла (все эти стеклянные террасы), черноты и тоски. В город я не ездила никогда, а когда ездила – скорей кидалась обратно от страха не попасть на поезд. Эта зима осталась у меня в памяти как полярная ночь. Все писатели из Дома Отдыха меня жалели и обнадеживали. Всю зиму я переводила. Перевела две английские баллады о Робин Гуде, три поэмы Важа Пшавела (более 2000 строк), с русского на французский ряд стихотворений Лермонтова, и уже позже, стихи – летом, с немецкого на французский большую поэму Бехера и ряд болгарских стихотворений. Работала не покладая рук – *ни* дня роздыха. В феврале месяце мы из Голицына дали объявление в Веч. Москве о желании снять в Москве комнату. Отозвалась одна гражданка, взяла у нас за 6 месяцев вперед 750 руб. – и вот уже 6 месяцев как предлагает нам комнату за комнатой, *не показывая*  ни одной и давая нам ложные адреса и имена. (Она за этот срок «предложила» нам 4 комнаты, а показала только одну, в которую так и не впустила, потому что там живут ее родные.) Она все отговаривалась «броней», которую достает, но ясно, что это – мошенница.

Дальше.

Если не ошибаюсь, к концу марта, воспользовавшись первым теплом, я поехала к себе в Болшево (где у меня оставалось полное хозяйство, книги и мебель) – посмотреть – как там, и обнаружила, что дача взломана и в моих комнатах (двух, одной – 19 метров, другой – 7-ми метров) поселился начальник местного поселкового совета. Тогда я обратилась в НКВД и совместно с сотрудниками вторично проехала на дачу, но когда мы приехали, оказалось, что один из взломщиков – а именно начальник милиции – *удавился* , и мы застали его гроб и его – в гробу. Вся моя утварь исчезла, уцелели только книги, а мебелью взломщики до сих пор пользуются, потому что мне *некуда* ее взять. На возмещение отнятой у меня взломщиками жилплощади мне рассчитывать нечего: дача отошла к Экспортлесу, вообще она и в мою бытность была какая-то спорная, неизвестно чья, теперь ее по суду получил Экспортлес. Так кончилась моя болшевская жилплощадь.

Дальше.

В июне мой сын, несмотря на беспрерывные болезни (воспаление легких, гриппы и всякие заразные) очень хорошо окончил седьмой класс Голицынской школы. Мы переехали в Москву, в квартиру профессора Северцова (университет) на 3 месяца, до 1-го сентября. 25-го июля я наконец получила по распоряжению НКВД весь свой багаж, очень большой, около года пролежавший на таможне под арестом, так как был адресован на имя моей дочери (когда я уезжала из Парижа, я не знала, где буду жить, и дала ее адрес и имя). Все носильное и хозяйственное и постельное, весь мой литературный архив и вся моя *огромная* библиотека, все это сейчас у меня на руках, в одной комнате, из которой я 1-го сентября *должна* уйти *со всеми* вещами. Я *очень* много раздарила, разбросала, пыталась продавать книги, но одну берут, двадцать *не* берут, – хоть на улицу выноси! – книг 5 ящиков. И вообще – груз огромный, ибо мне в Советском консульстве в Париже разрешили везти *все*  мое имущество, а жила я за границей – 17 лет. – Итак, я *буквально* на улице, со всеми вещами и книгами. Здесь, где я живу, меня больше не прописывают (университет), и я уже 2 недели живу без прописки. 1-го сентября мой сын пойдет в 167 школу – *откуда?*  Частная помощь друзей и все их усилия не привели ни к чему. Положение безвыходное. За город я не поеду, потому что там *умру* – от страха и черноты и полного одиночества. (Да с таким багажом – и зарежут). Я *не* истеричка, я совершенно здоровый, простой человек, спросите Бориса Леонидовича. Но – меня жизнь за этот год – добила. Исхода *не* вижу. Взываю к помощи».

Все эти дни Цветаева ездила с передачами для дочери и мужа. О состоянии ее можно судить по письму к Е. Эфрон: «Милая Лиля, спешу Вас известить: Сережа на прежнем месте. Я сегодня сидела в приемной полумертвая, потому что 30-го мне в окне сказали, что он на передаче не числится (в прошлые разы говорили, что много денег, на этот раз – определенно: *не* числится). Я тогда же пошла в вопросы и ответы и запросила на обороте анкеты: состояние здоровья, местопребывание. Назначили на сегодня. Сотрудник меня узнал и сразу назвал, хотя не виделись мы месяца четыре, – и посильно успокоил: у нас хорошие врачи и в случае нужды будет оказана срочная помощь. У меня так стучали зубы, что я никак не могла попасть на «спасибо». («Вы напрасно так волнуетесь» – вообще, у меня впечатление, что Сережу – знают, а по нему – и меня. В приемной дивятся долгости его московского пребывания.)…» И дальше: «Мур (Георгий) перешел в местную школу, по соседству. Может выходить за четверть часа, а то давился едой, боясь опоздать. *А* – кошмарный трамвай: хожу пешком или езжу на метро (Кировские ворота в 10 минутах). Немножко привыкла. Хорошие места, но – не мои. На лифте больше не езжу, в последний раз меня дико перепугал женский голос (лифтерша сидит где-то в подземелье и говорит в микрофон): – Как идет лифт? – Я дрожащим (как лифт) голосом: – Да ничего. Кажется – неважно. – Может и не доедете: тяга совсем слабая, в пятом – остановился. – Я: – Да не пугайте, не пугайте, ради Бога, я и так умираю от страха…»

Жила Цветаева переводами. «Перевожу по слуху – и по духу (вещи). Это больше, чем смысл». В одной из тетрадей запись: «Я отродясь, как вся наша семья – была избавлена от этих двух (желаний): слава и деньги. Добрая слава, с просто славой – незнакома. Слава: чтобы обо мне говорили. Добрая слава: чтобы обо мне *не* говорили – плохого. Добрая слава: один из видов нашей скромности – и вся наша честность. Деньги? Да плевать мне на них. Я их чувствую только, когда их – нет. Ведь я могла бы зарабатывать вдвое больше. Ну – и? Ну, вдвое больше бумажек в конверте. Но у меня-то что останется?… Ведь нужно быть мертвым, чтобы предпочесть деньги…»

Тем не менее, жизнь требовала денег.

Осенью 1940 года Гослитиздат начал было готовить книгу стихов Цветаевой, но книга эта так и не вышла. Критик Корнелий Зелинский, в глаза расхваливавший стихи, в закрытой внутренней рецензии отозвался о них уничтожающе. Членом Союза советских писателей Цветаева не была, только в апреле 1941 года ее приняли в профком литераторов – при том же Гослитиздате, для которого она переводила стихи Федерико Гарсиа Лорки. В дневнике запись: «Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить – мерзость, прыгнуть – враждебность, исконная отвратительность воды…»

В августе 1941 года Цветаеву с сыном эвакуировали из Москвы в небольшой городок Елабугу – на Каме. Пытаясь перебраться в Чистополь, где можно было найти хоть какую-то работу, Цветаева подала заявление в Совет Литфонда: «Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую…» Ее вроде бы обнадежили, но 31 августа, в воскресенье, когда все ушли из дому, Цветаева повесилась, оставив короткую записку поэту Николаю Асееву, чтобы взял к себе ее сына («Я для него больше ничего не могу и только его гублю… У меня в сумке 150 р. и если постараться распродать все мои вещи… А меня простите – *не вынесла* …»)

Сын Цветаевой Эфрон погиб на войне.